

Своеобразие отечественной хозяйственной мысли: наследие и новый парадигмальный поиск

Отечественная хозяйственная мысль давнего, как и у всех укорененных народов, происхождения. Сначала она содержалась в устных наставительных изречениях, а затем в письменных поучительных текстах: от того же приснопамятного силвестровского «Домостроя» XVI в. до вполне уже самобытного просветительского труда рубежа XVII—XVIII вв. «О скудости и богатстве», исполненного гениальным И.Т. Посошковым.

Посошковский труд стоял у истоков отечественной экономической науки, хотя сам еще никакой наукой не был. В науку российская хозяйственная мысль превратилась уже по заимствованию из-за западного рубежа предназначенной для университетов *политической экономии*, рожденной во Франции и систематически развитой в Англии. В основание университетской политической экономии в России был положен тогда замечательный труд шотландца А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), а посошковское произведение либо оставалось неизвестным, либо бессознательно забытым, либо вполне сознательно игнорируемым. Посошков писал свой труд для Петра I, а Петр с записками Посошкова так вроде бы и не успел ознакомиться, внезапно скончавшись, зато с «крамольным»-де текстом хорошо ознакомились другие — из «гнезда Петрова», и немедленно отправили автора на голодное умерщвление в Петропавловскую крепость. В итоге в российских прозападных университетах (включая и иные светские учебные заведения, существовавшие в усиленно догонявшей Европу российской стороне) победила не отечественная мысль, а западная наука *политэкономия*, причем более всего в английской версии, хотя и не без влияния в последующем других европейских школ — французской, германской, австрийской.

С момента утверждения политической экономии в российских очагах иноземного образования отечественная хозяйственная мысль развивалась либо прямо в рамках, если не в матрице, политической экономии (можно даже сказать — официальной политэкономии), либо

рядом с университетской наукой (Н.С. Мордвинов, М.М. Сперанский), либо параллельно с официально принятой наукой и ей альтернативной (славянофилы, народники, демократы-просветители, анархисты, первые русские марксисты), либо в университетах, но рядом и даже вопреки общепринятой политической экономии (математическая школа, философия хозяйства).

В советское время, контролируемое и руководимое большевиками-марксистами, политическая экономия не только не была забыта, но пережила как бы второе рождение, разумеется, в марксистской интерпретации, но, что особенно важно — в классической, т. е. в основе в общем-то смитианской, парадигме. Вся же отечественная мысль, даже и собственно политэкономическая, была отведена в разряд второстепенной и либо подвергнута забвению, либо переведена в статус ушедшей навсегда истории, либо тщательно пересмотрена — в угоду доминировавшему в ленинско-сталинской версии марксизму. Мало чему из русской экономической мысли повезло остаться в университетских курсах политэкономии (немножко от М.М. Туган-Барановского, чуть-чуть, да и то очень уже поздно и, естественно, критически, от Н.Д. Кондратьева, потом и от В.В. Леонтьева).

Разумеется, отечественная хозяйственная мысль, как и вся мировая экономическая наука, не ограничивалась политической экономией — этой общепризнанной фундаментальной наукой, а развивала и прикладные знания, имея немалые достижения, к примеру, в сельскохозяйственной (земельной, природопользовательской, лесной) и той же финансовой (налоговой) областях. Но главный размыслительный поток в университетах был всегда связан так или иначе с политической экономией, что в известной мере то же самое с фундаментальной экономией, с экономической теорией, с хозяйственно-экономической идеологией, с хозяйственно-экономическим мировоззрением.

Феодализм, капитализм, социализм; этатизм (абсолютизм), либерализм (фритредерство), дирижизм (протекционизм, догоняющее и опережающее развитие); государственный бюджет, налогообложение, таможня; регионализм (континентализм), национализм, мондиализм;

частность, общественность, тотальность; доверие, справедливость, честность; порядок, свобода, законность; деньги (меркантилизм, монетаризм), капитал, кредит; промышленность, торговля, транспорт, услуги; товар, рынок, цены; накопление, инвестиции, ценные бумаги; государственные финансы, национальная денежная система, валютные курсы; конкуренция, солидарность, взаимовыгодность; предпринимательство, труд на себя, наемный труд; эксплуатация труда, природы, машин; собственность, распределение, присвоение; производство, обмен, потребление; традиция, нововведения, модернизация; промышленная революция, машина и фабрика, научно-технический прогресс; кризисы, циклы, трансформации (стадии развития). Вот те вопросы, как и многие другие, ставившиеся политической экономией и ею так или иначе решавшиеся.

Итак: *какой была, какой могла и какой должна была бы быть хозяйственная (экономическая) жизнь людей, коллективов, обществ, стран, всей планеты?* Таков, наверное, комплексный лейтмотивный вопрос, он же и основной вопрос, политической экономии вообще и, конечно же, отечественной политической экономии тоже, как раз представлявшей собою и основную часть российского мыслительного наследия в хозяйственно-экономической области. Заметим, что политическая экономия не только занималась предстоявшей перед нею реальностью, но и задумывалась над переменами в реальности, причем не только естественно происходившими, но и субъективно желаемыми, а потому и вполне проективными. Политэкономия интересовалась поэтому не только собственно реальностью, но и *образом* реальности, придавая этому образу и вполне онтологическое значение. Выходило, что наряду с отражаемой политэкономией реальностью и образом такого отражения, втиснутым в науку — *реальностью как образом*, имел место и выдвигаемый той же наукой воображаемый образ — уже *образ как реальность*, что придавало политэкономии характер вполне провиденциального учения, т. е. дважды мифотворческого — через отражение, которое дает всегда в той или иной степени миф, а также через воображение, прямо уже миф созидующее. Для убеждения в этом

достаточно упомянуть тот же смитовский миф о трудовой стоимости, как и марксистский миф о бесстоимостном социализме-коммунизме.

Приняв на вооружение западную политэкономия, отечественная наука оказалась, скажем так, в не самом ловком положении, если не прямо в интеллект-западне, ибо Россия не была, при всем своем внешнем западнизме, собственно буржуазной страной, тем более «рыночно-демократической», а была страной монархически-феодальной, самодержавно-крепостнической, в основном сельскохозяйственной, помещицкой, крестьянской и менее всего промышленной, предпринимательской, фабричной, не говоря уже о машинах. Так что та же принятая в университетах смитовская политэкономия не столько отражала российскую реальность, сколько повествовала о другой — западной, европейской, капиталистической — реальности, которая, кажется, и должна была бы в основе своей когда-нибудь определенно наступить и в России. Так что пришлось русским экономистам всего более рассуждать о том, чего не было или почти не было в России, а как бы должно было быть, а обращаясь к собственно российским реалиям, более всего говорить об устаревших в общем-то хозяйственных укладах, их какой-то рационализации и модернизации, о недоразвитом экономическом укладе — торгово-промышленном, его непременном развитии, о государственных финансах, о возможном в будущем передовом промышленно-предпринимательском укладе.

Речь тут не могла не идти не просто об особенностях российской хозяйственной жизни, но и о ее принципиальных отличиях от еврозападной, уже денежно-капитало-экономически обустроенной или же лихорадочно в этой манере обустроивавшейся, как раз тех самых отличиях, не позволявших вполне и от всего сердца стать на позицию смитовской и какой-нибудь еще западной политэкономии. Отсюда особое внимание русских официальных экономистов-преподавателей к таким вещам, как «общий дом», «национальное (страновое) хозяйство», «общественная польза», «хозяйственная этика (моральность)», а также повышенный интерес к человеку хозяйствующему (не «экономическому»), к культуре, цивилизации, государству. В учебниках по политэкономии появляются

разделы о национальном хозяйстве, общинном хозяйстве, российской цивилизации, нравственном (православно-христианском) начале. Все русские политэкономы первой половины XIX в. признавали факт крепостного права, либо его при этом оправдывая, либо почитая за тяжкую неизбежность, либо высказываясь за его скорейшее преодоление. Думая о будущем России, они полагали возможность либо смешанного феодально-общинно-капиталистического бытия, либо все-таки по преимуществу капиталистического, но менее всего думали (уже за пределами университетов) о социалистической версии бытия. Хотела того политэкономия или нет, но она так или иначе готовила переход к более денежно-товарному хозяйству со свободной частной инициативой и развитым промышленным предпринимательством, хотя и считалась при этом с самодержавным устройством страны и феодально-общинными установлениями.

Положение политэкономии и политэкономов стало резко меняться с отменой крепостного права в 1861 г. и последовавшими за этой отменой либеральными реформами. С одной стороны, политэкономия стала очищаться от «отеческих предрассудков», оставляя их на попечение славянофилов и народников, и все более стала насыщаться собственно политэкономией — учением об экономике, денежно-товарно-рыночном хозяйстве, свободном капитализме, государственном экономическом хозяйстве, финансизме; а с другой — политэкономия стала разворачиваться (хотя и более всего поначалу за пределами университетов) от политэкономии капитала к политэкономии труда, все более увлекаясь марксизмом и грядущим-де социализмом.

Отечественная хозяйственная мысль конца XIX и начала XX вв. — весьма пестрая в концептуально-функциональном отношении мысль: здесь тебе и традиционное смитианство, и какое-то подобие немецкой исторической школы, и марксизм, и подобие раннего институционализма, и элементы маржинализма с математизмом, хотя при этом и вполне почвенная аграрная школа, весьма учитывавшая своеобразие аграрной сферы России. Можно сказать, что это уже был целый букет политэкономий и просто экономий, в котором выделялись, безусловно,

такие яркие цветочки, как смитианство и марксизм, бывшие в основе, по истокам и категориальному аппарату вполне еще и классическими в научно-идейном разрезе, хотя и в сердцевинах своих взаимоотрицательными.

Тут важно заметить, что *расцвет политэкономии* в пореформенной России совпал нежданно-негаданно с... *кризисом политэкономии* на Западе, когда, во-первых, явился яростно критикующий только что утвердившуюся — уже буржуазную — политэкономия пролетарский-де марксизм; и, во-вторых, повыскакивали разные неклассические теоретические экономии вроде того же маржинализма, которым уже были совершенно безразличны такие пережитки классики, как сущность, противоречие, мера, диалектика и т. п. философические заумы. Теоретическую экономию теперь интересовали более всего феноменальные моменты, параметры и связи между ними, их конкретная динамика, системные модели, количественные оценки, ну и, конечно же, текущая фактология. С классической политэкономией на Западе было если и не покончено насовсем, то весьма от нее «отрешено»: устарела и все тут! А что, собственно, было в ней отвергнуто? Ничто иное, как остатки философии, даже вроде бы научной, совсем, как казалось, еще молодой, сочной, плодоносной. Победивший в XVIII в., но впавший в острый кризис к концу XIX в., сциентизм пошел не на ослабление себя и ответное усиление метафизического начала, а как раз на усиление себя и окончательное изгнание из экономической и прочей социально-антропологической науки всякого намека на метафизику. Физика тогда полностью одолела метафизику — и на научную арену стали выбегать одна за другой сугубо и даже строго научные, почти что и... точные, экономии — вроде той же математической.

Нельзя сказать, что на Западе не было попыток выйти за рамки политэкономии в сторону неэкономического контекста — социального, психологического, правового, этического, идеологического, но верх одержали все-таки формально-логические подходы внутри самой экономии — тогда казалось, что все можно смоделировать, просчитать, исчислить, опираясь на ту же экономическую статистику и применяя

«точные» математические методы. Соблазн перехода к чистой науке, свободной от «неопределенной» и «фантазийной» философии, даже и научной-де философии, был настолько велик, что от еще все-таки социально-антропологической экономики Запад легко перешел к экономике механико-физической, тем более что последняя решительно отпрянула от таких каверзных вопросов, как собственность, классы и распределение богатства, социальная справедливость, эксплуатация человека человеком, уровень жизни, воспроизводство трудящегося человека. На первый план вышли проблемы эффективного использования предпринимателем (промышленником, «услужником», банкиром, инвестором, финансовым дельцом) хозяйственных ресурсов: денег, труда, материалов, техники, земли, недр, инвестиций, кредитов, ценных бумаг, а мерилom эффективности служили для науки лишь конкурентная устойчивость и доходность на вложенный денежный капитал. Любопытно, что слово «капитал» все более увязывалось со средствами производства, а не с авансированными на предпринимательство и хозяйственную деятельность деньгами. В конце концов появился даже «человеческий капитал» — слышите, не труд, а капитал! — что позволило капиталисту стать «трудовиком», а трудящемуся — «капиталистом». Ах, эта нейтрально-истинная наука? Где стоимость, где ее самовозрастание, где *капитал*? Ну, и где сам *человек*?

А что российская хозяйственно-экономическая мысль, как она отреагировала на кризис политической экономики? Не совсем так, как в Европе, уже испытывавшей первый долговременный кризис реального и вполне развитого капитализма и немало приветствовавшей в связи с этим альтернативный буржуазной науке марксизм, вызывавший дурманящую тягу к неведомому, но очень уж манившему «лучшие европейские умы» социализму. Русский ученый мир хотя и не отверг столь же решительно классическую политэкономию, ибо капитализм в России еще только развивался и пока еще не удостоился сходного с Европой негативного коллапса, но зато весьма увлекся тем же марксизмом, тем более что в России вовсю нарастало революционное движение, нацеленное в основе против царизма, феодализма и имперскости, но и против капитализма

тоже, а социалистический проект казался кое-кому в России ей — православно-де соборной и совсем не протестантской стране — очень даже подходящим. Чистая физикалистская наука тоже нашла некоторый приют в России, овладевая российскими пытливыми умами в заметно меньшей степени, чем в Европе, ибо молодые пытливые умы России были более заняты революцией, чем наукой. Россия оставалась еще в плену политэкономической классики (с учетом и марксизма) и не спешила, все еще очарованная этой классикой, в плотный захват к неклассике. Так или иначе, но политэкономия получила в России как бы новое дыхание — что буржуазная, что, так сказать, пролетарская, причем не только в университетах, а и во внеуниверситетских кругах, в том числе и нелегальных кружках. И в силу того, что Россия шла к революции (вполне и антироссийской!), за которой маячила Новая Россия — либо капиталистическая, либо социалистическая, но только не имперо-российская, российская политэкономия начала в XX в. весьма уже рассталась с прежней — XIX в. — национально-почвенной спецификой (исключая разве лишь аграрное направление) и все более представляла чистой, т. е. и западной, политэкономией — не смитанской, так марксистской, а кое в чем уже и вульгарно-маржиналистской.

Однако Россия не была бы Россией, если бы не выкинула какого-нибудь совершенно неожиданного номера. И она таки этот номер выкинула, вдруг уйдя в сторону не только от классической политэкономии, все еще отягченной-де научной философичностью, включая и марксизм, но и от неклассической, уже предельно научной, экономики. Россия вдруг родила в это кризисное для Европы и России, для экономизма, либерализма и гуманизма, для политэкономии и сциентизма время не что иное, как *философию хозяйства*, которая была уже не только не продолжением политэкономии, но даже и не ей альтернативой, как не была она и альтернативой физической экономике, с которой, в отличие от политэкономии, вообще не имела ничего общего (политэкономия хотя бы страдала остаточной философичностью, пусть и в основном научной).

Философия хозяйства предпочла физике и научной философии *метафизику и метафизическую (метанаучную) философию*, а

накопленной в ученом мире интеллект-философии — *философию реальности* (из реальности, от реальности, для реальности), причем реальности возможно более полной, ничего из нее заведомо, как те же политэкономия с точной наукой, не исключая: ни материального, ни идеального, ни духовного; ни феноменального, ни ноуменального, ни трансцендентного; ни явленно-фактического, ни сущностно-смыслового; ни предельного, ни беспредельного; ни пространственного, ни временного, ни беспространственно-безвременного; ни видимого, ни осязаемо-чувствительного, ни прозрачно-проникательного; ни сеюмирного, ни, пардон, потустороннего, в общем — ничего из возможного и невозможного, из действительного и воображаемого, из предметного и мыслимого, из вещественного и виртуального, то бишь не исключая ничего из всего *физического* и всего *метафизического*.

Если это, выражаясь модно-вычурно, холизм, то холизм самый полный, объемный, целостный, пожалуй что, и беспредельный. Человек здесь как физическо-метафизическое целое; общество тоже; хозяйство — тем более; такая же и философия хозяйства, вбирающая в себя все ей необходимое от философии как таковой (как знания), но и созидающаяся сама по себе — под покровом, выучкой и контролем хозяйства, бытия, реальности.

Выход к философии хозяйства, совершенный впервые С.Н. Булгаковым в 1912 г. посредством опубликования книги «Философия хозяйства» и защиты в Московском университете одноименной докторской диссертации, был выходом не к новой теоретической парадигме, не к новой научной концепции, даже не к новой отрасли гуманитарного знания, а в *новый смысловой мир*, не исключавший вообще ни науки, ни философии, ни религии, ни той же литературы с искусством, но бывший от них вполне самостоятельным, и никаким не синтезным перед лицом всех этих знаниевых сфер, что невозможно из-за разности парадигм, аксиоматики и принятых в них языков, а попросту изначально и целостно сложным, а лучше бы сказать — сложно-единым, если не попросту — *своим!* Здесь никакая не смесь знаний, даже не смешанное знание, а органичное внутри и для себя же особое, вполне и

самодостаточное, знание, впускающее в себя всю реальность, выраженную в феномене хозяйства или через него, и дающее целостное об этой реальности представление.

Что же это такое — *хозяйство*? Для философии хозяйства это все жизнеотправление человека, берущееся по преимуществу со стороны его — этого жизнеотправления — организации, причем организации по преимуществу деятельной. *Человек — дело — организация — течение реальности — хозяйство*. Вот в главном и все! Можно и по-другому: *субъект — объект — взаимодействие — процесс — итог*. Или еще: *субъект — контекст — движение реальности — новая реальность*. И все это про целостное жизнеотправление, про делание жизни, про организацию жизни, про жизнеосуществление. От обеспечения питанием, одеждой, убежищем, очагом, теплом и продолжения рода человеческого до производства социальных организаций, культур и цивилизаций, работы духа и эманации идей, отправления культов и реализации права, ведения кровавой войны и проведения буйного карнавала. *Вся жизнь (на уровне организма-субъекта) — хозяйство, все хозяйство — жизнь!*

Почему же здесь все-таки философия — философия хозяйства, а не наука, не теория, не прикладное хозяйствоведение? Исключительно по причине присутствия в хозяйственной реальности, в самой жизни, в бытии человека, даже и в мироздании, не только и даже не столько *физиса*, сколько *метафизиса*, а к последнему относится все, включая и какую-нибудь последнюю «темноматериальную» частицу, не говоря уже о живом и животном мире, человеке как именно человеку (сознание, разум, ум, язык, интеллект — что это, если не метафизис?), народе, обществе, культуре, цивилизации, государстве, нации, ну и науке, философии, религии, как и вообще о всяких смыслах, идеях, знаках, символах, проектах (что это все?). Именно так: что это, если не метафизис, отражаемый метафизикой? Даже наука физика в общем-то сплошь метафизична, а что говорить о той же политэкономии, в которой ничего, кроме метафизики, и нет, правда, как бы офизиченной по преимуществу метафизики, так сказать, находящейся на услужении у физики. А разве самая что ни на есть точная математика не метафизична? Такая

абстрактная, таинственная, в одно и то же время вольная и определенная, если не предельная? О-ох, метафизика это вовсе не ненаука, а как раз самая настоящая наука, хотя и почему-то стыдящаяся метафизики, ее из себя изгоняющая, да вот обойтись без нее никак не могущая. Наука сейчас — как бы отрицательная метафизика, а потому и в некотором роде... лжеметафизика, да и в немалой мере... лженаука тоже, ибо надуманно неметафизична.

Да, наука вроде бы располагает точными, верифицируемыми, доказательными знаниями. И очень хорошо! Эти-то знания обычно и принимаются за физические, что совсем и не плохо. Однако далеко не везде и по каждому поводу возможны физические умозаключения, позволяющие накапливать и физические истины. Человек и его хозяйство, рассматриваемое и как общественное хозяйство, и как природно-неприродное, и как вообразимо-невообразимое, и как, пардон, имманентно-трансцендентное, по большей части совсем не физичны, а потому не очень-то и научны — как в аспекте познания и осмысления, так и в плане деяний, они более всего метанаучны и метафизичны, а потому требуют не столько науки с ее теориями, сколько философии с ее неопределенными суждениями и нежесткими умственными построениями. Целостный подход к хозяйству требует и целостного его познания (не просто системного, а именно целостного: как по горизонтали, так и по вертикали; как поверхностно-плоскостного, так и содержательно-объемного; как феноменального, так и сущностного; как «ухватывающего», так и только предполагающего). И дело тут не только в познании, но и в применении знания, а потому философское знание о хозяйстве, которое при этом еще и знание-размышление, должно достаточно корреспондировать с метафизической природой объекта знания и действия. Наряду с физикой (вроде той же статистики) тут должна всюду фигурировать и метафизика, однако не столько как готовое знание, сколько как вырабатываемое непрерывно суждение.

Это был настоящий революционный прорыв — в совершенно иную, чем стало привычным для науки и научной философии, сферу, что знаменовало собой не прекращение науки и научной философии, не их

приращение и развитие, а выход за их пределы, но не назад — к старой, так сказать, метафизике, как раз круто осужденной где-то в XVIII—XIX вв. сциентизмом и им пренебрежительно отброшенной, а к метафизике новой — уже *постнаучной*, а не *донаучной*. Получилось так, что прорыв этот произошел на экономическом мыслительном векторе, причем посредством диалектического отрицания (снятия) научного экономизма и политэкономизма, включая смитианство, марксизм и тот же маргинализм, но это не было только продолжением или даже развертыванием данного вектора, а было вхождением в совсем иное мировоззренческое пространство с обретением и иных познавательно-проективно-деятельских возможностей. Наука с научной философией, как и вообще философия, как и те же религии с их богословиями, оставались на своих местах, но наряду с ними появилось новое *знание-размышление*, имеющее не столько свой собственный объект с предметом, сколько свое собственное (самостное) бытие в человеческой мировоззренческой (идейно-духовной) сфере, причем непосредственно, непрерывно и плодотворно соприкасающейся с реальностью — *хозяйственной реальностью*.

Вряд ли Булгаков чего-то подобного хотел, но так у него получилось, причем не столько в высказанных им словах, сколько в выказанном им намерении: вроде бы разбирал докучливо философию и экономизм, ища выход из политэкономического тупика, не пренебрегая ни капитализмом, ни социализмом, а вышло что-то совершенно ото всего этого особенное — *софийное*, не только не строго научное, не только не философийное, но никак и не собственно религиозное, а какое-то совсем другое, идущее прямо к Софии и от Софии же исходящее, причем не нейтрально исследовательское и не предвзято догматическое, а всюю живое, свободное, актуальное, хотя и трудно, почти что невозможно, уловимое.

Нет, конечно, российская мысленная субстанция, широко и глубоко зараженная вполне еще молодой наукой, весьма ухваченная передовой-де нововременской философией и частично удерживаемая религиозной догматикой, никакого восторга по поводу булгаковского прорыва в новую мировоззренческую сферу посредством философии хозяйства (а хозяйство, повторяем, вся жизнь человеческая, причем субъектно-деятельская, ничего

и не исключая, даже и таких штук, как широко действующих безумия, бесовства, inferнальности) не продемонстрировала, считав булгаковское деяние за сугубо личное и ко всему мыслящему сообществу отношения не имеющее. Учебное сообщество в своей ученой сердцевине так и осталось тогда либо уныло (смитианство), либо азартно (марксизм) пережевывающим политэкономическую классику и где-то сбоку второпях вываривающим неклассическую экономическую физику.

Тут в России наступил коварный 1917 г., и когда грянула российско-антироссийская революция, поначалу вроде бы классическая буржуазно-демократическая, подтвердившая высокий провиденциальный статус классической же политэкономии — смитианской, но мгновенно превратившаяся в неоклассическую пролетарскую, утвердившую прагматическую правоту уже неоклассической политэкономии — марксистской. Политэкономия в целом получила явное историческое оправдание и, сжавшись потом до марксистской, заняла наряду с марксистской же философией первенствующее положение на российско-советском мировоззренческом небосклоне.

А что философия хозяйства? Она была попросту сознательно и вполне физически отброшена в... небытие, ее как будто бы и не было: мелькнула яркой кометой, никого при этом серьезно не задев и обстоятельно не просветив, и исчезла где-то в темном пространстве воззренческого мироздания — и то хорошо! Самым потрясающим здесь было то, что в конспиративную отставку была отправлена единственно национальная, совершенно отечественная, почвенная и русская, абсолютно оригинальная, впервые в истории России вдруг явившаяся, не имевшая аналогов в мире, вполне самостоятельная и самодостаточная, новая и перспективная мысль! Отсюда лишь одно заключение: на протяжении XIX в. отечественная хозяйственная мысль, все более подпадая под влияние западного политэкономизма вкупе с оголтело научным экономизмом и все более утрачивая свою специфику, жестко, неуклонно и неумолимо расправлялась сама с собой, круша не только почвенных домостроевцев — тех же славянофилов и народников, но и сколько-нибудь учитывавших специфику России кафедр-политэкономов, в итоге чего предстала к XX в.

совершенно уже в западных мировоззренческих образах, сделавшись окончательно и бесповоротно производной, вторичной, периферийной.

Русская-де мысль жаждала прозападной в России революции — либо буржуазной, либо пролетарской, либо еще какой, но в любом случае антироссийской, — и на такое неожиданное событие, как явление философии хозяйства, в прозападной революции в России совершенно не заинтересованной, не могла не встретить не только равнодушно, но даже и враждебно, мало того, с немалым и страхом... за саму себя, ибо с адекватным признанием философии хозяйства ей пришлось бы очень сильно, если не трансгрессивно, измениться, чего она совсем не хотела и попросту даже боялась. Конечно, столь неожиданное, чувствительное и значимое новое никак не могло сразу же встретить восторженного приема, но... все-таки... отсутствие хотя бы попросту заинтересованного к новой мысли внимания не означало ли тогда самого обыкновенного... э-э... предательства — России, русского ума и духа, российского самосознания, самой отечественной мысли? — и вопрос этот совсем, знаете ли, не риторический!

Да, разумеется, не поняли, не встряли, не оценили! Все это так, но ведь не кто-нибудь, а русские мировоззренцы, так и не уразумевшие, что Россия — не Европа, что нельзя насильно делать из России Европу, что у России свой, вполне и имперский, путь, что Россия нуждается не в беспутных анархических переворотах, а в большой, каждодневной и систематической работе по переустройству и достижению не какой-нибудь, а вполне развитивной социо-хозяйственной гармонии, что целеположенная, рассчитанная и упорная эволюция для России важнее, нужнее и предпочтительнее любой «безбашенной» в ней революции. Соблазн Европы и Революции, а потому и Революции и Европы, оказался сильнее тяжелой работы по переустройству и развитию страны; прельщение западной мыслью было могущественнее обращения к собственному, почвенному и вполне суверенному мышлению; интеллектуальное потребительство (иждивенчество) превосходило потребность в самостоятельном творческом интеллектуализме. Да, не поняли, не встряли, не оценили, но и не могли ничего подобного сделать, ибо слишком уже

увлеклись не своим и слишком уже презирали свое — оттого и весьма плачевный результат — что интеллектуальный, что исторически реальный!

Случайно ли именно в России и как раз именно в начале XX в. возникла философия хозяйства — как целостное и вполне, повторяем, самодостаточное учение-размышление, а не как прихотливый набор философско-хозяйственных измышлений? Нет, конечно, не случайно — и дело тут в основе в трех обстоятельствах — объективном, объективно-субъективном и субъективном.

Обстоятельство объективное — кризис. Общая кризисная ситуация, сложившаяся в Европе и России; разгул революционного движения; подготовка к крупной европейской войне; кризис идеологии гуманизма и классической гуманитарной культуры (наступление Серебряного века); кризис социальной науки и расцветшего в ней сциентизма. Кризис этот чувствовали и осмысливали везде, по всей Европе, но в России в особенности: здесь он обрел явно апокалиптический характер, что и было хорошо и удачно подтверждено российско-антироссийской революцией. Кризис стимулировал концептуальный поиск, но в Европе он привел более всего к отрицанию научной классики и переходу ей в противовес к еще более-де научной неклассике, а вот в России он привел к бурному развитию на русской, так сказать, почве европейского марксизма и некоторых ростков неклассического интеллектуализма, но... еще и к неожиданному отрицанию европейского сциентизма вообще, что и выразилось в преодолении политической экономии и научного экономизма, как и того же утопического, но в основе своей крайне взрывоопасного, марксизма, правда, в преодолении сугубо точечном — через струйчатый извод философии хозяйства, и только!

Обстоятельство объективно-субъективное — историческая специфика России и российской мысли. Не пройдя собственной глубокой Реформации, а лишь насильственно подражая Западу, Россия, окончательно въехавши в итоге прозападных-де петровских реформ в самодержавие и крепостничество, не выдала на гора ни капитализма, ни индустриализма, ни саморазвивающегося сциентизма, а потому, воспроизводя почти рабски западную мысль и лишь частично ее

подправляя, не выработала и никакого самобытного, целостного и способного к развитию собственного мировоззрения, хотя и пыталась это сделать, отыскивая свою специфику и вроде бы на нее упирая. Ни имперско-православное самодержавство («Самодержавие, православие, народность»), ни славянофильство (почему же, однако, не русофильство?), ни обращенное против самодержавно-феодальной России народничество не дали сколько-нибудь осязаемого и полного результата в слишком уже зараженной Западом западной стране и победу на мировоззренческом поле одержал в конце концов западный сциентизм. Но кое-что из западного русские мыслители все-таки выразили, сосредоточивая свое внимание на соборности, общественности, целостности; на общем благе, общем деле, общем доме; на этике, морали, честности; на (sic!) хозяйстве, а не экономике, на благочестивом хозяйствовании, а не экономической выгоде, на общественной (национальной) пользе, а не частном интересе. Хотели того русские мыслители или нет, но они вольно или невольно указывали на необходимость какого-то альтернативного взгляда на хозяйственную жизнь, достаточно отличного от европейского, закладывая так или иначе основы какой-то иной хозяйственно-экономической идеологии, что как раз и нашло известное воплощение в булгаковской философии хозяйства. Здесь также уместно вспомнить о И.Т. Посошкове, этом уникально-универсальном мыслителе рубежа XVII-XVIII вв. — первом русском философе хозяйства, еще донаучном, предтечевском, так сказать, порядка, незаслуженно затертом и забытом, — и это воспоминание наводит на мысль, что первое пришествие философии хозяйства на русскую землю состоялось не в XIX в., а еще в начале XVIII в., и имело оно те же примерно последствия, что и второе — уже постнаучное, как раз булгаковское: невнимание, оттеснение, забвение (Посошков был уморен голодом в Петропавловке, в Булгаков выслан за границу без права возвращения на родину под угрозой расстрела). Заметим, что Булгаков был хорошо знаком с трудом Посошкова и придавал ему очень большое значение. Двести лет потребовалось России, чтобы вернуться на посошковскую стезю, правда, уже не по-предтечевски, а вполне уже фундаментально — сквозь *философию хозяйства!*

Обстоятельство субъективное — авторское. Нет нужды рассказывать о всех перипетиях жизни, деятельности и творчества С.Н. Булгакова, этого воистину великого русского мыслителя, но важно отметить, что с детства религиозный (православный, из семьи священника), в юности и молодости атеистический и вполне сциентистический, по-европейски образованный и просвещенный, интеллигентский, в зрелости... вновь религиозный (возвращенец), антисциентистический, противоиинтеллигентский: от атеизма, материализма и марксизма к православию, идеализму и... *софийности*, а в итоге, аккурат к сорока годам — *от политэкономии к философии хозяйства*. Не будучи сторонником самодержавия и российской имперскости, он не стал и гонителем оных — отъявленным революционером, а, попытавшись ревизовать марксизм, вполне и безуспешно, выступил за религиозный ренессанс («новую церковь») и в его свете за историческую самобытную Россию, ее собственное, хотя и не автаркическое, развитие. Стажируясь после окончания Московского университета в Германии, не только усваивал марксизм и социал-демократизм, но и, по-видимому, уловил первые тенденции к «философизации» экономизма, выказывавшиеся тогда М. Вебером, В. Зомбартом, Г. Шмоллером, что и вылилось в конце концов, уже в России, по разочаровании в марксизме, материализме и революционизме, в такой замечательный интеллект-продукт, как философия хозяйства. Все тут как-то сошлось на Булгакове и из него в свет и вышло! Заметим, что Булгаков был блестящим политэкономом, он читал лекции по истории экономической мысли, отлично знал европейскую науку, был хорошо знаком и с отечественной хозяйственной мыслью. В то же время Булгаков был и вполне квалифицированным философом. И вот именно в уже контрмарксистском и постсциентистическом сознании Булгакова зародилось и выросло намерение не нанизывать дополнительный сучок на уже высохавшем древе западного мыслиезъявления, а высадить совершенно новое мыслительное древо — на русском просторе, в русской земле, посреди русской ноосферы, вне западной искусственной оранжереи. Посадить-то посадил, да вот вырастить древо ни ему, ни еще кому-нибудь тогда не удалось, но тут уже

была не вина Булгакова и его возможных последователей, а множества российских обстоятельств, среди которых центральное место занимало общее неприятие российской ученой общественностью почвенной, да еще и постнаучной, еще и метафизической (неометафизической), еще и софийной, мысли.

Отвлечемся на время от русской философии хозяйства, сверкнувшей было ярко посреди русского мирознания, почти что обжигающе, да вот нарочито и не замеченной, не поддержанной и быстро отправленной, правда, уже полновластными большевиками-марксистами, в «национальный отстойник» — в библиотечный спецхран, и уделим некоторое внимание победившей в пореволюционной России, ставшей вдруг СССР, марксистской политэкономии вкупе с марксистской же философией. Хотя и в особой — пролетарской-де — интерпретации, но классической политэкономии весьма тогда повезло — именно она, пусть и только в марксистском образе, была принята на идеологическое вооружение в СССР, а не более поздняя и, казалось бы, более современная неклассическая научная экономия. Жизнь классики была продлена, что было в общем-то хорошо, но... сама классическая мысль мало в чем соответствовала реальности, которая была ни буржуазной (капитал-экономической), ни собственно пролетарской (социал-хозяйственной), а была попросту этато-мобилизационной (армейского более всего образца).

Марксистская политэкономия была четко и беспощадно разделена на политэкономия капитализма, которого в стране уже не было и не должно было быть, и политэкономия социализма, которого в стране еще не было, но который непременно должен был стать. Политэкономия капитализма раскрывала чуждый (заграничный и для России прошлый) строй хозяйственно-экономической жизни, который марксизм наяву отрицал и с которым идейно и деятельно боролся, а политэкономия социализма была призвана обосновать и оправдать сначала строившийся, а затем и вроде бы построенный, социалистический-де строй жизни, хотя таковым «по гамбургскому счету» он, конечно же, не был, он был в лучшем — символическом — случае сталинизмом, а в худшем — уже реальном — попросту тотальным этатизмом, вполне и ордынским: все трудились за

определенную свыше платно-распределительную меру — кто управляя (номенклатура), кто попросту работая: рабы и полурабы (зэки, крестьяне-колхозники, рабочие) и недорабы — служащие, «интеллигенция». «Политэкономия социализма», толкуя об общественной собственности, государственном централизованном управлении, планомерности, общественных фондах потребления, растущем жизненном уровне и т. д., ничего не говорила о фактической реальности, создавая самый обыкновенный, но при этом очень примитивный и чересчур уж лживый, идеологический миф, обязательный для распространения и усвоения всеми грамотными и неграмотными элементами общества. Однако миф мифом, а реальность — реальностью! Последняя хоть и не была в полном смысле слова социалистической (впрочем, может, и была!), а, будучи в основном армейско-мобилизационной, оказалась на определенный период весьма и весьма действенной: сталинизм за короткий срок осуществил (широко заимствуя западные технику, технологии, заводы, оборудования) целостную индустриализацию производства с его возможной на тот момент модернизацией (за счет сельского хозяйства, крестьянства, а также реквизиций всяких ценностей у богатых и зажиточных слоев населения, у церкви с последующей реализацией этих ценностей за границей), провел образовательную революцию, подготовив многочисленные специализированные кадры для производства, науки, техники; создал мощный военно-оборонный комплекс с новой, технически быстро оснащавшейся армией; соорудил потребную для нового хозяйства и общества инфраструктуру, включая современный транспорт... в общем вывел страну на современный материально-технический уровень, реализовав фактически то, что в Европе называлось материально-технической базой капитализма, причем смог затем достичь, уже после победоносной и щедрой на развитие Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., и большего — создать атомное оружие, баллистические ракеты и первым в мире вырваться в космос, опередив развитые, мощные и всю передовые США.

Политэкономия мало соответствовала бытовавшей в СССР реальности, но зато этой реальности вполне соответствовала, как и в ней

попросту участвовала, прикладная экономическая наука, усилиями которой был создан весь *организационно-экономический механизм* — вполне и уникальный (система централизованного управления хозяйством на основе и в рамках тотального планирования; оригинальная денежно-финансовая система, включая банковско-кредитное дело, бухгалтерский учет, ценообразование, капиталовложения; статистический учет; экономика труда и заработной платы; система денежно-натурального распределения потребительских продуктов и т. д.). Как бы то ни было, но созданная советской наукой (в основном, экспертной) хозяйственная система не только функционировала, но и имела выдающиеся конечные результаты, хотя и до поры до времени, как раз до того предела, за которым армейско-мобилизационное хозяйствование перестает давать достаточные, а главное — новые и разнообразные, плоды.

Данная система, более или менее обоснованная и весьма отраженная в «политэкономии социализма», бывшей по сути более всего теорией не социализма (что же он такое — социализм?), а государственного централизованного хозяйствования, не могла долго и с необходимым позитивным эффектом существовать, лишенная внутренней потенции к развитию, нововведениям, разнообразию, удовлетворению многих, тем более — существенно новых, потребностей. Казарма есть казарма, в ней может быть строй, порядок и мера, но не может быть *из-нутри* творчества, самовозникающей новизны и органичного самоперестроения. Так называемая «рыночная реформа» 1965—1970 гг., известная также как косыгинская, была первой и последней крупной попыткой плавно перестроить сталинский «социализм» во что-то более жизнеспособное, но из этого в общем-то ничего не получилось: послесталинская номенклатура не на шутку дрогнула и в страхе потерять удобный ей «социалистический строй» предпочла ограничиваться даже не полумерами, а квазимерами, пытаясь лишь как-то усовершенствовать и «одинамить» уже «приказывавший долго жить» постсталинизм. В конце концов общество, устав от навязанного «равенства» и вынужденной аскезы, включая и весьма заметное недопотребление, стало тем или иным путем преодолевать «социализм», стремясь не просто к личным потребительским

успехам, но и к личным обогащениями уже вполне буржуазного толка. Часть номенклатуры тоже не избежала подобных увлечений, фактически отрицая «социализм», но уже не снизу — как какие-нибудь цеховики, а сверху — как формальные управители. К 1980-м гг. уже было ясно, что загнивавший на корню «социализм», прозевавший к тому же новую большую волну научно-технического прогресса, идет к своему концу. Горбачевская «перестройка» ему не помогла, оказавшись, как это не раз бывало в истории страны, ни достаточно адекватной исторической ситуации, ни достаточно решительной, и «социализм» вместе со своей «политэкономией» рухнул, немало, кстати, к такому исходу самой этой политэкономией и подготовленный.

Политэкономия социализма, бывшая, скажем так, европосоветского происхождения, имела место в советских университетах и вне их, но вследствие своей чрезмерной идеологической заданности, оторванности от реальности и недюжинной мифологичности в золотой фонд мировой политэкономической мысли не вошла; зато советскую прикладную экономическую науку вполне можно почитать за полезный, по-своему и выдающийся вклад в мировую экономическую науку и хозяйственную практику. Сегодня вроде бы нет большой потребности в советском хозяйственном опыте и соответствующей ему научно-экспертной мысли, но завтра... о-о... завтра может все измениться, ибо кругом кризис (причем кризис не так даже перепроизводства или перенакопления, как кризис перепотребления, а это куда как страшнее по возможным в будущем последствиям), во всем развитом мире явный избыточный продукт при обостряющейся нехватке ресурсов, освобожденный от труда и забот «человече» не знает, куда себя деть, и т. д., а потому, чем черт не шутит, потребуется вдруг и что-то близкое к планово-административному, в основе неэкономическому или же постэкономическому, вполне и натуральному, опыту «казарменного» СССР — почему нет?

Крах советского социализма, включая и крах всего его идеологического оснащения (пусть и временный, но все-таки крах, а не какой-нибудь кризис), заставил большинство «новороссийских» интеллектуалов оставить марксизм и броситься в противоположную

сторону — уже к как бы совершенно современной и чуть ли не истинной западной науке, давно уже расставшейся с классикой и занятой самым что ни на есть неклассическим научным экономизмом. Никакого органичного освоения западной мысли тут не было и быть не могло, а случилось самое обыкновенное — не только не осторожно-критическое, а вовсе даже восторженно-потребительское — заимствование. Так в стране стало быстро распространяться, усиленно при этом и насаждаемое, западное экономическое мышление, но вполне, знаете ли, периферийно-колониального свойства (делать было нечего: проиграли, потерпели поражение, сдались на милость победителю, так что ничего тут не оставалось, как только учиться, учиться и учиться — у современного, так сказать, капитализма, финансизма, глобализма, империализма — вот и стали учиться, перенося «ихние» знания в свои либо не очень-то еще освобожденные от марксизма, либо вообще вдруг опустевшие головы).

Нет, советская марксистская школа не вывернулась из весьма худого положения, в которое вдруг попала, ничего приемлемого, кроме арьергардной критики новой буржуазности и лобовой защиты ушедшей в небытие пролетарскости, так обновлявшемуся интеллекту и не предложив. Повторы, повторы, повторы! Никакого глубокого пересмотра, никаких отчетливых нововведений, никаких осовремененных интеллект-комбинаций!

Итак: с одной стороны, передовая-де, хоть и с заметной уже гнильцой, западная научная комбинаторика — механическая, пустотелая, калейдоскопная, а с другой — постмарксистское суесловие — слабое, охранительное, вероподобное.

Однако случилось в стране и кое-что другое: не от капитализма и не от социализма, не от политэкономической классики и не от научно-экономической неклассики, не от точной науки и не от догматизированной религии, не от идейного убеждения и не от чувственной веры, а всего лишь от... проникновения в реальность, правда, уже за пределами самонадеянной науки, вне уже все познавшей философии и помимо все уже установившей для себя религии, как и вовсе не среди них, не между ними, не в их невозможном соединении, а как-то само собой, в стороне —

на своей стороне. Да, да, речь идет о вновь явившейся в России (еще в СССР)... *философии хозяйства*, ее третьем с учетом посошковской предтечности и втором уже после Булгакова пришествии, состоявшемся определенно в 1990 г. с выходом независимой от Посошкова и Булгакова работы автора этих строк «Опыт философии хозяйства».

Примечательно, что автор «Опыта» не был тогда знаком ни с трудом Посошкова (да и вряд ли посчитал бы сей великолепный труд за философско-хозяйственный), ни тем более с трудом Булгакова, прочно застрявшем в библиотечном спецхране. И оттого новое рождение в России философии хозяйства особенно знаменательно: надо, так надо, и никуда от этого не уйти! Новое рождение оказалось не просто новым (третьим или вторым) пришествием, а и новым или очередным возрождением философии хозяйства, происшедшем, кстати, не вследствие какого-то физического краха европосоветской политэкономии, а вследствие ее практически полной реально-метафизической несостоятельности. На базе и в рамках зарпортованной политэкономии ничего не то что нового, а попросту адекватного реальности сказать было уже нечего, да и... нельзя! Требовался выход за пределы политэкономии, как и державшего ее на плаву, но при этом и в плену, физикалистского сциентизма. Отсюда и *философия хозяйства*: хозяйство, а не экономика, и философия (мировоззрение), а не наука (теория).

Одной из примечательных особенностей отечественной (еще русской) хозяйственно-экономической мысли был вольно-невольный упор на слове «хозяйство» в ущерб, хотя, быть может, и не в противовес, слову «экономика». Русское сциентизированное сознание почему-то сопротивлялось «экономике», отдавая предпочтение вроде бы всего лишь синонимичному «хозяйству»: домашнее хозяйство, крестьянское хозяйство, общинное хозяйство, помещичье хозяйство, фабричное хозяйство, армейское хозяйство, городское хозяйство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, народное хозяйство, мировое хозяйство, даже и хозяйство поэта (А.С. Пушкин). Обратим внимание: не «экономика», а «хозяйство»! И ежели посчитать это не за недоразумение, а за пусть инстинктивную, но содержательную особенность, свойственную

российской практике, русскому сознанию и тому же русскому языку, то можно при желании обнаружить очень важную смысловую вещь: хозяйство все-таки не совсем экономика, не только экономика, а то и вовсе не экономика, точнее бы — экономика, конечно, всегда хозяйство, а вот хозяйство — вовсе не всегда экономика. Последняя есть не более чем однеженное, товарообменное, стоимостное хозяйство, а потому и не более чем частный случай хозяйства, его особенный способ — и не более того! Хозяйство возможно и без экономики, а экономика без и вне хозяйства — нет, невозможна, — как, к примеру, та же политика, совершенно возможная без и вне экономики, оказывается невозможной без и вне хозяйства, хотя в цивилизационной практике имеет и свою экономику, вполне, так сказать, политическую, а то и попросту реализуется как экономическая (та же денежно-финансовая).

Отечественная хозяйственная мысль давно чувствовала, что экономика с ее деньгами, товарами, обменами, ценами, капиталами, банками, инвестициями, рынками вовсе не объемлет всего, что входило так или иначе в хозяйство, хотя и не поставила до Булгакова знака равенства между хозяйством и жизнью, немало из-за этого путаясь во вроде бы лишь синонимических понятиях — русском «хозяйстве» и западной «экономике». А ведь за этим почти бессознательном различии стояло очень многое, возможно, и самое главное, что отличало отечественную мысль от западной. Русская мысль вглядывалась в жизнь, в западная — лишь в один из ее искусственно созданных механизмов!

Хозяйство не очень-то подвластно науке, ее точному-де подходу, а потому хозяйством может заниматься по преимуществу и в полном объеме только философия, причем философия мировоззренческая. Отсюда как раз и философия хозяйства, а не наука о хозяйстве, которая, безусловно, возможна, но лишь в определенных границах. В целом же и на весь простор — философия хозяйства, способная увидеть и не отвергнуть свойственной реальности неопределенности, сокрытости, разнообразности, идеальности, духовности, трансцендентности, даже и чудесности, достигая этим необходимой познавательной адекватности и размыслительной полноты. Философия — без границ, хозяйство — тоже — и только

хозяйственная реальность ответственна и гранична, что как раз и делает философию хозяйства не вольной интеллект-словесностью, а сообразованной внутри себя и в связи с контекстом смысловостью.

В освобожденные от монопольного давления марксизма и обретшие кое-какую мировоззренческую полифонию 1990-е гг. вновь возникшая в стране философия хозяйства, сойдясь вплотную со взглядами неожиданно тогда открытого основоположника русской философии хозяйства С.Н. Булгакова, получила немалое развитие, превратившись из инициативного авторского начинания в активное и плодоносное течение мысли, оформившись к 2000 г. институционально (научная школа, специальный журнал, одноименная лаборатория в МГУ). Нет, это не было ни булгаковедением, ни булгаковизмом, ни булгаковизмом, как и не было и нет никакого в адрес великого русского мыслителя кумирства, — признание, уважение и внимание — не кумирство! Булгаков — зачинатель, первооткрыватель, основоположник, мало того, гениальный «вкладчик» в основы философии хозяйства, но никак для современной философии хозяйства не объект культа и безоговорочного «адепства». Важнее не то, что сказал Булгаков, хотя это и важно, а то, что заставило его именно так высказаться, как и важен путь, на который он вступил и впервые обосновал. Современной философии хозяйства нет без Булгакова, его идей и устремлений, но, повторим, это никак не булгаковедение, а самостоятельно бытующая и развивающаяся — вместе с Булгаковым — мировоззренческая мысль. Никакого буквоедства, лишь свободное творчество, а ежели обращение к предшественникам, то сугубо содержательное, в согласии более с их мыслями, а не словами, хотя и со словами, конечно же, тоже!

Так или иначе возникнув, сформировавшись, обогатившись мыслями и понятиями, насытившись кое-какими текстами — размыслительными, образовательными, просвещенческими, философия хозяйства принялась за новое осмысление (и переосмысление тоже) мировоззрения, накопленного знания, утвердившихся трактовок — и не только в хозяйственно-экономической сфере, что понятно, но и в других сферах — социальной, политической, исторической, как и в научной, философической,

практической. Будучи вроде бы абстрактным и по преимуществу метафизическим знанием-размышлением, философия хозяйства вовсе не чуждается практической стороны человеческого бытия, наоборот, к ней заинтересованно устремлена и ею продуктивно занимается, замечая и обнаруживая то, что обычно не видится другим отраслям и типам знания, соответственно и выдавая на гора *свои* трактования фактов, деяний, событий, процессов, не пренебрегая и потребной при этом проективностью. Познавательльно-осмыслительно-трактовочная особенность философии хозяйства не в том, что она сторонится физиса бытия, а в том, что, отдавая должное метафизису, стремится постигать физическое через метафизическую призму, а потому и по-иному постигать и понимать окружающий мир, чем это может предложить физикалистская наука, научная философия или та же «заоблачная» религия.

Сегодня, в 2013 г., можно утверждать, что философия хозяйства уже сложилась в целостное, при этом и открытое, знание-размышление, способное к самостоятельному существованию и развитию. По поводу и вокруг философии хозяйства сообразовалось значимое ученое сообщество (Философско-экономическое ученое собрание, Академия философии хозяйства), систематически проводящее научные форумы, издающее содержательные тексты, отвечающее на актуальные запросы времени, вполне, заметим, и времени кризисного (мирового, странового, воззренческого). Однако формирование философско-хозяйственного направления мысли и уже завоеванное им положение в сочетании с немалой известностью ни в коей мере не означают какого-либо «триумфального шествия» философии хозяйства по идейно-воззренческому пространству, прочно занятому давно уже возникшими, внутренне консолидированными и ставшими вполне привычными знаниями, но в то же время и торопливо заселяемому «новейшими» импортными интеллект-соблазнами. Нет, путь философии хозяйства вовсе не усыпан розами, он пролагается, скорее, через густые тернии, растущие по преимуществу на почве непонимания, неприятия и охранительно-предосудительного отвержения.

Очередное пришествие философии хозяйства, а это, вновь особо подчеркнем, самое отечественное из отечественных мыслительных достижений в гуманитарной сфере, служит не столько признанию философии хозяйства и взлету оригинальной мировоззренческой мысли, сколько новому приступу желания поскорее покончить с неудобным для устоявшейся традиции и неприемлемым для постмодернистского наукообразия оригинально-прорывным знанием-размышлением. Главное сейчас: ограничить, оградиться, не допустить, сдержать, не дать развиваться и распространяться, упрятать в резервацию, создать сектантский имидж, исказить реальный образ и действительную суть, преуменьшить значение, на всякий случай сдиффамировать, да и попросту оболгать. Увы, все это есть, — и от этого никому уже не уйти — ни тем, ни этим!

Современная экономическая теория, отвергнув политическую экономию с ее онтологической социальностью и остаточной (научной-де) гносеологической метафизичностью (все-таки думала еще, старушка, о сущности вещей), а также увлекшись физикалистским математизированным подходом (системно-физическим моделированием), незамедлительно ушла даже от чисто экономической, не говоря уже о целостно-хозяйственной, реальности, превратившись в интеллектуалистскую «игру в бисер», ведущуюся по преимуществу уже ради самой себя, а не какой-то там реальности. Так называемые «неоклассика» (точнее бы — «неклассика») и «экономикс», претендующие хотя бы на системно-формальную целостность, изображают не что иное, как некую виртуальную реальность, свободную от всякой верификации относительно реальной реальности: трудно найти хотя бы одно воистину реалистическое и реально доказуемое положение в этих теориях. В действительности ведь всё не так, всё совсем по-другому, но что поразительно — это совершенно не беспокоит блистающую чистым интеллектом науку, ибо в ее задачу входит не отражение реальной реальности, а не более чем выделывание «новых» синтетических (искусственных) мозгов для их применимости в виртуально-

симуляционной... э-э... ирреальности, подменяющей собою реальность как таковую (компьютеры, модели, инструкции, сети).

Ближе к реальной реальности расположен так называемый «новый институционализм», но он, во-первых, не слишком все-таки онтологичен, во всяком случае целостно он не онтологичен, как и совершенно не онтологичен ноуменально; во-вторых, ограничен правоинституциональной практикой, призванной управлять экономическими процессами без адекватного постижения самого объекта управления и «уважительного» к нему отношения, а потому легко соскальзывающей на принцип «экономика для института» в ущерб принципу «институт для экономики».

«Новый институционализм», в отличие от «старого» или «классического» институционализма, не признает необходимости, самоценности и практической незаменимости для хозяйства и экономики такого института, как государство, враждует с ним, называя не более, не менее, как «бандитом», и склонен воспевать фактически асоциальный анархизм, за которым маячат, как хорошо известно, мощные негосударственные субъекты управления, устанавливающие свой порядок, но непременно через стихию, произвол, кризисы, войны. Строго говоря, «новый институционализм», как и частично «старый», не строго экономическое учение, скорее — политико-юр-управленческое, что говорит не о «плошести» самого учения, а лишь о его онтологической относительно экономики «внепредметности» («парапредметности»).

Главная неприятность научно-экономической современности — слабость или даже отсутствие фундаментальной онтологической концептуальности, сходной по значению с той, которая имела место при доминировании политической экономии классического образца. Ни «неоклассика» («неклассика»), ни родственный ей «экономикс» данной миссии не только не выполняют, но и склонны вообще отвергнуть любую мировоззренческую фундаментальность. Отсюда две попытки: 1) возродить, как-то осовременив, бывшую политическую экономию; 2) предложить новую, уже совершенно современную, политэкономии. Так или иначе, но это не что иное, как быть или не быть ныне политэкономии?

Основная трудность тут в том, что несмотря на свою вроде бы фундаментальную онтологичность политэкономия XIX в. была не столько нейтрально-объективной онтологией, сколько... ангажированно-субъективной идеологией: либо ангажированным учением о капитале и ради него, включая подотчетный капиталу предпринимательский индустриализм, либо же не менее ангажированным учением о труде и ради него, не исключая все того же, но уже подотчетного-де труду... э-э... коллективно управляемого... индустриализма. Один ствол политэкономии вовсю оправдывал капитал, другой — «лоббировал» труд. Были попытки и создать политэкономия социальной гармонии, но уже не столько между капиталом и трудом, сколько между работодателем и трудоносителем — не без посредничества государственных инициатив.

Никто не против того, чтобы обстоятельно рассуждать о капитале и его пользе, о свободном товарно-денежном хозяйстве, о важности предпринимательства и труда, как и тех же... банков, о необходимости взаимоприемлемого сотрудничества между капиталом и всеми на него трудящимися работниками, о доходах, богатстве и их распределении, о значении растущей экономики в целом и значимости экономизма, но... ахиллесовой пятой знания, пытающегося до сих пор называться политической экономией, остается онтология — та самая реальность, о которой вроде бы старательно повествует политэкономия, но которая далека от адекватного с ее стороны восприятия и понимания: да, стоимость (ценность), да — субстанция, но причем тут либо поиск материального основания для этой субстанции — вроде того же труда, либо попытка внестоимостного трактования стоимости, как и всех стоимостных параметров-величин, через сидящие-де в вещах полезности и их предельные рыночные выражения? Научная гносеология тут подвела реальную онтологию, ибо стоимость не только не вещественна, не материальна, но, что особенно важно, никаким внешним для нее образом не измеряется: стоимость метафизична, идеальна, эфирна, трансцендентна и, что особенно важно — сама себе мера, чего не могла и не может никак понять ни классическая политэкономия, ни ее славный наследник — неклассический экономизм. Не объяснив «как следует» стоимости, а

стоимость есть не что иное, как *самое экономическое в экономике*, нельзя объяснить и практически ничего из вообще экономического — объяснить не идеологически, а как раз онтологически, совершенно и нейтрально относительно текущей реальности.

Физический подход нельзя переносить на нефизическую реальность — которая как раз по преимуществу метафизическая; стоимость со всеми своими параметрами-величинами — не физис, а сплошной метафизис; да и экономика в целом в своей онтологии — все тот же метафизис.

Возможно ли сегодня какое-то возрождение политэкономии: пусть лишь подновленной, пусть и совершенно новой? Ответ даст сама научная, так сказать, жизнь, но на наш философско-хозяйственный взгляд — нет, ибо для этого политэкономии (как бы она ни называлась) надо... перестать быть... собственно политэкономией, что для политэкономии, которая все-таки не так адекватное реальности содержание, как его — этого возможного содержания — неясный символ, совершенно неприемлемо.

Автор этих строк не принципиальный противник политэкономии, хотя и не безоговорочный ее сторонник. Все дело в том, что в рамках неясной, ограниченной, расплывчатой, фрагментарной, «ни нашим, ни вашим», а по большому счету попросту невозможной, парадигмы, упорно притягиваемой к политической экономии, никакой убедительной в онтологическом плане политэкономии быть не может, а может случиться лишь очередная — вполне, наверно, и надуманная — идеология, оправдывающая, к примеру, тот же финансовый глобализм или, напротив, его же решительно осуждающая, что, собственно, есть одинаково плохо!

Политэкономия — не вечное вообще учение, а вполне временно-временной взгляд на хозяйственно-экономические вещи, возникший на потребу эпохе Модерна и ее важнейшему атрибуту — капиталу. Взгляд вполне тогдашний — наивно-научный, не более того! Сегодня на мировом дворе не что иное, как Постмодерн, для которого такие понятия, как реальные деньги и реальные товары вместе с реальными капиталами, банками, кредитами и ценными бумагами, не более чем ушедший в прошлое «материальный» анахронизм. В том же анахроническом забвении

труд, производительность труда или то же самое частное предпринимательство. И рынок сегодня не рынок, и валюта не валюта, и цена не цена. Ныне в почете вещи виртуальные, прозрачные, мимолетные, когда не хозяйственная реальность ведет экономическую виртуальность, а экономическая виртуальность владеет хозяйственной реальностью! Краеугольным камнем в «эфирном» экономическом здании служит не товарное отношение, не сами по себе деньги и даже не капитал, а направленное на реальность (сверху вниз) *управленческое решение*, вполне и *ирреальное*. Хозяйственно-экономический мир совершенно перевернулся, выставив наружу и вперед не реальность, а *ирреальность*. Тогда причем тут политэкономия со всеми ее традиционными идейно-выверенными материальными атрибутами? А-а, *may be новая политэкономия*? Тогда какая же? Ведь кругом теперь сети, а не рынки, структуры, а не свободно складывающиеся отношения, системы управления, а не самоорганизации, пирамиды, а не нейтральные среды. Условно говоря, не физика вокруг, а *алфизика*, где господствуют не причинно-следственные связи, а управляемый и управляющий произвол любых управляющих миром сем, вовсе не отрицающих перманентного тотального кризиса всего мирового хозяйственно-экономического контекста, а его — этот кризис — органично предполагающие, активно пролонгирующие и старательно использующие. Никакой ныне субъектной атомарности, никаких складывающихся между самостоятельными-де субъектами отношений, никаких свободных и несвободных между ними конкуренций! Теперь лишь сети и центры управления ими да подотчетная центрам экономическая агентура, включая и там и сям действующую резвую резидентуру. Другой мир, другая реальность, другая онтология, другая и гносеология! И никакой тебе в привычном понимании политической экономии, которая так и не выяснила до сих пор, что понимается ею под «экономией», а что под «политической»!

Философия хозяйства — не политэкономия, но вышла в свет философия хозяйства как раз из-за политэкономии, фактически занимавшей место философии хозяйства, но, увы, не слишком все-таки достойно и успешно. И философия хозяйства существует сегодня совсем не случайно: выход философии хозяйства на мировоззренческую арену —

не чья-то субъективная прихоть, как и не какая-то научная закономерность, это — трансцендентное веление метафизиса, столь пренебрежительно отвергаемого до сих пор физикой и той же политической экономией, но при этом всегда в мире бывшего, ныне вовсю бытующего и на будущее в своем онтологическом значении лишь усиливающегося.

Достоинство философии хозяйства в ее органической и в то же время неограниченной целостности — что онтологической, что гносеологической, она ничего из реального, включая и ирреальное, не чурается, всё принимает и ничего от себя не гонит. Кредо философии хозяйства не в поиске несокрушимых истин, обычно выливающих в невозмутимую догматику, а в утверждении *правды*, какой бы неприглядной и горькой она ни была. В философии хозяйства не может быть ни правых, ни ошибающихся, ни тем более «правых» и «левых», как и тех же «центристов», ибо для философии хозяйства, озабоченной человеком-человечеством и его бытием-хозяйством, бытием-историей, бытием-телеологией и бытием-эсхатологией, какие-либо идеологические предпочтения, да еще и между собой враждующие, попросту лишены всякого смысла. Философия хозяйства не разъединяет, а объединяет, что не значит, что она монофонична, нет, она вполне полифонична, но не какофонно, а как раз вполне симфонично, что совсем не мешает быть в ее музыкальном поле ни чудным голосам, ни смелым партиям, ни насыщенным мелодикой содержательным струям.

Вывод: отечественная мысль пришла к философии хозяйства, уйдя от политэкономии, и не придя, естественно, к постмодернистскому научному экономизму; непризнание загодя и надолго хорошо внутри себя сбитой научной общественностью философии хозяйства не означает, что последняя не заслуживает бытия, развития и распространения; возрождение политической экономии, себя очень уж не оправдавшей, вряд ли возможно, хотя и возможен еще всплеск какого-то ее постмодернового заместителя; познавший философию хозяйства, в нее вошедший, ни в какой политэкономии не нуждается, что не значит, что в ней не нуждается научное сообщество, столь упорно отвергающее философию хозяйства.

Не в силе Бог, а в правде!

Философско-хозяйственный ключ к постижению исторической реальности

Зачем вдруг этот ключ? Наверное, чтобы не только представлять хозяйство и историю, но и понимать их, трактуя не фактологически лишь, а и метафизически. Философия хозяйства — метафизика хозяйства, философия истории — метафизика истории! Там и там — метасмыслология, питаемая трансцендентностью и восходящая к Софии. Философия хозяйства и философия истории — отрасли софиасофии, а софиасофия — смысловое ядро философии хозяйства и философии истории. Фактология и анализ фактов важны при познавательном обращении к хозяйству и истории, но вовсе не достаточны, ибо метафизика высвечивает то, что как раз за фактами, под ними и над ними. И никто, кроме Господа Бога, не знает, что тут впереди физика (фактика, фактис), за которой как бы следует (производно) метафизика, или же метафизика, априорно навязывающая себя физике (фактике, фактису). Но в любом случае всегда лучше, ежели в истории, как и в хозяйстве, не одна физика (фактология), а и метафизика, только и способная не только внешне охарактеризовать предмет, но и внутренне раскрыть его.

Хозяйство — жизнеотправление человека, его со стороны человека организация, им управление, а отсюда хозяйство и всегда хозяйствование; история... в общем-то, то же самое, тоже ведь жизнеотправление человека, но более берущееся не как действующая продуктивная система, а лишь как происходящий во времени процесс.

Факт жизнеотправления — факт одновременно хозяйственный и факт исторический, как раз то, что единит между собой хозяйство и историю, делает их по сути одним и тем же.

Хозяйство как история, история как хозяйство! Хозяйствоведение тяготеет более к освещению систем и отвечает на вопросы: кто, что, как, для чего и до чего, историоведение же — к восприятию процессов с ответом почти на те же по сути вопросы: кто, что, как, зачем и до каких пор?

Там и там жизнь, ее реализация, там и там борьба человека за жизнь и против смерти, там и там жизнь вкупе со смертью, там и там смерть вместо жизни.

Однако есть и разница — хозяйство всегда есть, как и есть те или иные результаты хозяйства (продукты, та же материальная культура), а вот история всегда есть и ее всегда нет, ибо история — сплошная идеальность, которая хоть и фиксируется — опять же идеально, но которой перед глазами, как того же хозяйства, попросту нет. Так что хозяйство — это все-таки реальное бытие, которое всегда есть, хоть и течет, и проходит, и исчезает, а история — это всего лишь несуществующий момент непрерывно текущего бытия, что то же самое — ирреальность.

Хозяйство — единство материального и идеального, физического и метафизического, феноменального и ноуменального, явленного и сущностного, «показного» и скрытого, а вот история... она только идеальна и метафизична, а ежели феноменальна, явлена и фактична, то лишь... в пределах... идеального и метафизического.

Любой хозяйствовед, не говоря о хозяйственнике, в одно и то же время идеалист и материалист, либо наоборот — кому как нравится, а любой историк, даже и исторический деятель, вершащий-де историю — сплошной идеалист.

История как наука — знание лишь о виртуальных фактах, хотя и представляемых историей как физические, материальные, натуральные, — и история — хороший или плохой, но миф, может, более или менее реалистический, но всегда миф, так сказать — фактологический миф. История как наука — сама для себя, что не значит, что в исторической науке нет ничего ценного для наблюдателя и толкователя. Наука об истории — попытка наложить фактологический миф на более чем фактологический процесс. Вот почему историко-научный, или же научно-исторический, миф более скрывает идеальную историю, запутывая благорасположенного к ней читателя, чем раскрывает ее, вовсю и просвещая благонамеренного читателя. Отсюда потребность именно в метафизике истории, в философии истории, преодолевающих научно-фактологическую (экзотерическую) мифологию и выводящих на иного

рода и другого уровня мифологию, а именно на метафизическую (эзотерическую), но не на апостериорную и вынужденную, как в науке, а на априорную и вполне уже добровольную. В итоге возникает целостное во времени и в пространстве, как и в объеме и в процессе, представление об истории реальности, вовсе не совпадающее с научно-фактологическим. Факты вроде бы те же, а вот смыслы — иные!

Нет, речь не идет здесь о нагружении истории человека историей его хозяйства, оснащении истории разной хозяйственной атрибутикой вроде полезностей, оценок, критериев эффективности и т. п. вещами, хотя это, по-видимому, и возможно. Речь тут о другом: философия хозяйства, касающаяся природы человека, его труда и творчества, его демиургии, а следственно, начала и конца хозяйства, его телеологии и эсхатологии, а потому и начала и конца человека — как раз человека хозяйствующего, действующего во взаимоотношении со всем мирозданческим контекстом (природным, земным, космическим), эта-то философия хозяйства позволяет иначе, чем даже отдаленная от нее философия истории, взглянуть на историю как реальность и историю как нарратив, заметив в историческом процессе реализацию не чего-нибудь, а именно хозяйства, имеющего кое-какую сверххозяйственную, даже и сверхчеловеческую, и сверхреализменную, направленность — от природы к неприроде, от одного типа человека к другому, от одного мира к другому.

Свершится в реальности переход от одного к другому или нет, не так уж и важно: главное здесь — тенденция, которая, надо полагать, и потенция, открываемая не кем-нибудь, а философией хозяйства (не экономической наукой, не теоретической экономией, даже не теорией хозяйства, а именно философией хозяйства).

Хозяйство опережает историю, ее созидает и определяет, а философия хозяйства задает методологические параметры философии истории, что вовсе не значит, что последняя должна следовать только философии хозяйства.

Что это за параметры?

Во-первых, реальная история есть история разнообразных деяний людей, из которых особую значимость имеют деяния элит, власти и

властителей; так или иначе, но это не что иное, как хозяйственные деяния, хотя их обычно за таковые не принимают; тут важно обратить внимание, что деяния эти относятся не только к выживанию и улучшению бытия человека и социумов, пусть и за счет других человека и социумов (покоренных, завоеванных, подавленных), но и ко все время открывающемуся перед человеком, хозяйствующим и творящим, *запределью*, когда человек устремлен к чему-то ему вовсе для выживания и улучшения текущего бытия ненужному, но зато почему-то необходимому в целях выхода за человеческие пределы, куда-то в иное, вовсе неведомое, но тем не менее чаемое; отсюда смысловая трансцендентность многих человеческих деяний, их трансцендентная неотмирность.

Во-вторых, что бы ни делал человек в своей имманентной заданности и трансцендентной устремленности, как бы не верил по-своему в историю, он не может не заметить, как и не может отменить, того факта, что история вершится и сама по себе, самим «ходом вещей». Это только кажется, что все, что делает человек, есть исполнение его и только его желаний, определяемых-де его потребностями, — на самом-то деле человек делает много из того, что ему самому вовсе не очень-то и нужно, мало того, совсем непосредственно и не нужно. Человек ссылается при этом на обстоятельства, на требования контекста, на высшую волю, в общем — на что-то относительно него внешнее и нередко непонятное. Хозяйство человека — вовсе не так необходимо, рационально и расчетно, как это обычно представляется; человек вершит много нерационального, иррационального, безрассудного, безумного; хочет вроде бы одного, а получается в итоге совсем другое, он чего-то явно не хочет, а получается как раз то, чего он не хочет, — и трудно бывает понять отчего — от него самого или от обстоятельств, хода вещей или той же высшей воли; человек хозяйствует среди неопределенности, неизвестности, недостатка информации, стихии, абсурда, безумства. Хозяйствование человека — игра, причем по вовсе не всегда достоверным правилам, как и с совершенно непредвиденными концами. «Ход вещей» бывает сильнее «хода человеческих деяний», хотя человек и пытается влиять на ход вещей, даже овладевать им. И не так человеческие деяния производят и

ведут ход вещей, как ход вещей направляет и ведет деятельность человека. История — то ли производитель хода вещей, то ли его продукт, во всяком случае — и продукт тоже!

В-третьих, в истории, как и в хозяйстве, действует и полная неизвестность, чего не отнести ни к ошибочным деяниям людей, ни к тому же непрекаемому ходу вещей. Это уже не что иное, как «ход неизвестности»! Можно назвать это и историческим (или же внеисторическим) произволом. Откуда же он — этот произвол истории или произвол в истории... если прямо не от иномирья?! Обращает на себя внимание, что все главное в истории, как, собственно, и в хозяйстве, совершается... э-э... вне и даже вопреки собственно человеку, истории и хозяйству, приходя откуда-то извне, из неизвестности, из ничто! Человек, история, хозяйство — это вовсе не только то, что видит вокруг себя человек исследовательский, немало и в меру наблюдательный, но совсем при этом не пронизательный, а кое-что другое — это больше-чем-человек, больше-чем-история, больше-чем-хозяйство!

Хозяествуя, человек творит, причем творит несуществующее, неприродное, неотсеюмирное, творит прямо из ничего — от ничто! — так почему же не предположить и не признать того замечательного факта, что в этом мире присутствует и действует кое-какое, совсем и не человеческое, творящее ничто — невидимое, неуловимое, неопределимое? Тот же абсолют среди всеобщей относительности!

Философия хозяйства подводит к тому пониманию истории, при котором история предстает как одновременно известная, полуизвестная и неизвестная, но не потому, что какие-то факты, свершения и события остаются в тени незнания, надежно забыты или умело сфальсифицированы, а потому что история в принципе и на всю глубину свою конспирологична, мало того — трансцендентно конспирологична, как, собственно, и хозяйство, и сам человек.

Счастье человека в том, что он, очень много вроде бы зная, не знает все-таки главного, более того — он как раз по наибольшей что ни на есть сути ничего и не знает!

Только самонадеянная нововременская наука вкупе с научной философией могли убедить человека интеллектуального, что он может все узнать, исследовательски погружаясь в физис мира, тщательно копаясь в физическом микромире и уверенно залезая в физический мегамир. И что же в конце концов узнала наука вместе с научной философией? Она узнала, что ничего исходного и основополагающего о мире и человеке не знает! А вот философия хозяйства, в отличие от той же, к примеру, экономической науки, сразу же признала трансцендентность мира и бытия, а окружающую человека неизвестность посчитала за его неперемное и драгоценное достояние. Пока есть неизвестность с трансценденцией, есть и человек, ибо конечное знание всего и вся — не жизнь, не хозяйство, не история, а... смерть!

Да, знание — жизнь, но ведь и незнание тоже жизнь, и пока есть незнание, есть и жизнь, а потому за знанием стоит не только жизнь, но и... смерть. Знание — сила, сила жизни, но и сила смерти тоже!

История, как и хозяйство, — субъектны и субъективны, хотя при этом и объектно-объективны, и, конечно же, трансцендентны. Человек творит хозяйство и делает историю, которые как творятся и делаются сами, так и вытворяются и выделяются потусторонней трансценденцией. Трансценденция не спит, она работает, хотя и с разной во времени интенсивностью.

Величайшее достояние хозяйства как истории и истории как хозяйства в незнании, если не в отсутствии, будущего, как и в удаляющемся неприсутствии прошлого. Отсюда возможность обновления и перемен, не определяемых полностью будущим. Возможность делать, творить, искать, плыть, отрекаясь от прошлого, считаясь с настоящим и увлекаясь будущим. Реальное, но при этом и трансцендентно обусловленное, хозяйство, как и реальная, но при этом и трансцендентно управляемая, история.

Ни хозяйства, ни истории нет без субъектов хозяйства и истории, без их, пусть и не таких уж свободных и эффективных, деяний. Подавляющее число субъектов — воспроизводители, повторители, заимствователи, последователи, конформисты, разве лишь корректоры, настройщики,

совершенствователи, ну и, разумеется, исполнители; однако есть и водители, инициаторы, организаторы, открыватели, новаторы, творцы; первые из субъектов относятся к категории работников, службистов, обывателей, как раз и держащих на своих плечах хозяйство, историю, весь человеческий мир; вторые же относятся к категории управителей, устроителей, преобразователей. Организация социума — важнейшая хозяйственная функция, а преобразование социума — важнейшее хозяйственно-историческое деяние. Те же обычаи были когда-то чьими-то инициативными установлениями; правила и законы — чьими-то институциональными деяниями; культура делается, а цивилизации создаются; государства строятся, как те же села и города; создаются империи; ведутся войны, совершаются завоевания, захваты и покорения.

Хозяйство ведется, история вершится!

И что интересно; вовсе не в соответствии с насущными потребностями человека, а... с заложенным откуда-то и почему-то стремлением человека к *иному*, наверное, вследствие все-таки неземного, неприродного, неотсеюмирного происхождения человека, которого *этот* мир как-то, почему-то и зачем-то не устраивает. Да, человек мог первобытно-общинно жить в земной природе практически вечно, натурально-воспроизводственно хозяйствуя и почти не имея, кроме мифотворной, истории; но человек этой вечности почему-то не захотел, он перешел к цивилизации, а затем пустился по демиургическому пути *пересотворения мира*, перейдя от пассивной предыстории к активной истории; сознание человека — не от мира сего, оно и вывело человека на запредельный путь; человек вовлек себя, или был вовлечен, в движение к *иному*, ему неизвестному, но отчего-то очень необходимому.

От природы к неприроде, от человека к инополовечу, от сего мира к миру иному!

Сегодня мир человеческий переживает исключительный по значению мутационный момент: от хозяйства к сверххозяйству, от истории к постистории, от мира человеческого к миру нечеловеческому. Так это произойдет на самом деле или нет, ибо корректирующий «ход вещей» налицо, а опровергающий «ход неизвестности» всегда начеку, но не

говорить об этом уже нельзя: возможность такого или какого-то еще ему подобного гигантского судьбоносного метаперехода уже не в фактисе, а в самой текущей реальности!

Настал, или еще только настает, кульминационный момент хозяйства и истории, причем не история тут ведет хозяйство, а хозяйство вершит историю. Не история, к примеру, задала хозяйству состояние Модерна, а хозяйство втащило историю в эпоху Модерна, равным образом, и втаскивало в эпоху Премодерна и втащило в эпоху Постмодерна.

Вот и выходит, что философия хозяйства всю споспешествует философии истории, а не наоборот; без хозяйства никакой истории вообще нет — как реальности и как нарратива, а без философии хозяйства, смеем это утверждать, нет и быть не может реалистичной философии истории. Сначала феномен многовековой человеческой демиургии, а потом уже и его — этого феномена — история — прямо до самого конца уже всякой истории, ну и, разумеется, всякого человеческого хозяйства!

Содержание

Своеобразие отечественной хозяйственной мысли: наследие и новый парадигмальный поиск.....	3
Философско-хозяйственный ключ к постижению исторической реальности	35